

◆ ВСЕМИРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА ◆

ИВАН
ШМЕЛЕВ



Богомолье



МОСКВА

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Ш72

Оформление серии *Н. Ярусовой*

В оформлении обложки использованы фрагменты
работы художника *Кириака Костанди*

Шмелев, Иван Сергеевич.

Ш72 Богомолье / Иван Шмелев. — Москва : Эксмо, 2026. — 352 с. — (Всемирная литература (с картинкой)).

ISBN 978-5-04-211400-7

Иван Сергеевич Шмелев (1873–1950) — писатель, чье творчество стало гимном утраченной России. В своих произведениях он воссоздал мир дореволюционного православия — простой, теплый и бесконечно дорогой сердцу.

«Богомолье» — проникновенная повесть о паломничестве маленького Вани в Троице-Сергиеву лавру. Дорога, наполненная чудесами и встречами, становится для мальчика путем к Богу. А сам монастырь предстает «небом на земле», где даже воздух кажется благодатным.

В книгу также вошли: повесть «Неупиваемая чаша» — история крепостного художника Ильи Шаронова, чья чудотворная икона исцеляет людей; очерк «Старый Валаам» о посещении Валаамского монастыря и рассказ «Рождество в Москве», вдохновленный детскими воспоминаниями о праздновании Рождества в кругу семьи.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-211400-7

© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2026

НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША

Повесть

Дачники с Ляпуновки и окрестностей любят водить гостей «на самую Ляпуновку». Барышни говорят восторженно:

— Удивительно романтическое место, все в прошлом! И есть удивительная красавица... одна из Ляпуновых. Целые легенды ходят.

Правда: в Ляпуновке все в прошлом. Гости стоят в грустном очаровании на сыроватых берегах огромного полноводного пруда, отражающего зеркально каменную плотину, столетние липы и тишину; слушают кукушку в глубине парка; вглядываются в зеленые камни пристаньки с затонувшей лодкой, наполненной головастиками, и стараются представить себе, как здесь было. Хорошо бы пробраться на островок, где теперь все в малине, а весной поют соловьи в черемуховой чаще; но мостки на островок рухнули на середке, и прогнили под берестой березовые перильца. Кто-нибудь запоет срывающимся тенорком: «Невольно к этим грустным берега-ам...» — и его непременно перебьют:

— Идем, господа, чай пить!

Пьют чай на скотном дворе, в крапиве и лопухах, на выкошенном местечке. Полное запустение — каменные сараи без крыш, в проломы смотрится бузина.

— Один бык остался!

Смотрят — смеются: на одиноком столбу ворот еще торчит побитая бычья голова. Во флигельке, в два окошечка, живет сторож. Он приносит осколок прошлого — помятый зеленый самовар-вазу и говорит неизменное: «Сливков нету, хоть и скотный двор». На него смеются: всегда распяской, недоуменный, словно что потерял. И жалованья ему пять месяцев не платят.

— А господа все судятся?! — подмигивая, удивляется бывалый дачник.

— Двадцать два года все суд идет. Который барин на польке женился... а тут еще вступились... а Катерина Митревна... наплевать мне, говорит. А без ее нельзя.

И опять все смеются, и сараи — каменным пустым брюхом.

Идут осматривать дом. Он глядит в парк, в широкую аллею, с черной Флорой на пустой клумбе. Он невысокий, длинный, подковой, с плоскими колонками и огромными окнами по фасаду — напоминает оранжерею. Кто говорит — ампир, кто — барокко. Спрашивают сторожа:

— А может, и рококо?

— А мне что... Может, и она.

Входят со смехом, идут анфиладой: банкетные, бокетные, залы, гостиные — в зеленоватом полусвете от парка. Смотрит немо карельская береза, красное дерево; горки, угóльные диваны-исполины, гнутые ножки, пузатые комоды, тускнеющая бронза, в пыли уснувшие зеркала, усталые от вековых отражений. Молодежь выписывает по пыли пальцами: Анюта, Костя... Оглядывают портреты: тупеи, тугие воротники, глаза навывкат, насандаленные носы, парики — скука.

— Вот красавица!

Из-за этого портрета и смотрят дом.

— Глаза какие!

Портрет в овальной золоченой раме. Очень молодая женщина в черном глухом платье, с чудесными

волосами красноватого каштана. На тонком бледном лице большие голубые глаза в радостном блеске: весеннее переливается в них, как новое после грозы небо, — тихий восторг просыпающейся женщины. И порыв, и наивно-детское, чего не назовешь словом.

— Радостная королева-девочка! — скажет кто-нибудь, повторяя слово заезжего поэта.

Стоят подолгу, и наконец все соглашаются, что и в удлинённых глазах, и в уголках наивно полуоткрытых губ — горечь и затаившееся страдание.

— Вторая неразгаданная Мона Лиза! — кто-нибудь скажет непременно.

Мужчины — в мимолетной грусти несбывшегося счастья; женщины затихают: многим их жизнь на минуту представляется серенькой.

— Секрет! — спешит предупредить сторож, почесывая кулаком спину. — На всякого глядит сразу!

Все смеются, и очарование пропало. Секрет все знают и меняют места. Да, глядит.

— И другой секрет... про анпиратора! Прописано на ней там...

Сторож шлепает голой грязной ногой на табуретку, снимает портрет с костыля, держит, будто хочет благословить, и барабанит пальцами: читайте! И все начинают вполголоса вычитывать на картонной наклейке выписанное красиво вязью, с красной начальной буквой:

...Анастасия Ляпунова, по роду Вышатов. Родилась 1833 года мая 23. Скончалась 1855 г. марта 10 дня. Выпись из родословной мемории рода Вышатовых, лист 24: «На балу Санкт-Петербургского дворянства Августейший Монарх изволил остановиться против сей юной девицы, исполненной нежных прелестей. Особливо поразили Его глаза оной, и Он соизволил сказать: «Maintenant c'est l'hiver, mais vos yeux, ma petite, réveillent dans mon

coeur le printemps!»¹. А наутро прибыл к отцу ее, гвардии секунд-майору Павлу Афанасьевичу Вышатову, флигель-адъютант и привез приглашение во дворец совокупно с дочерью Анастасией. О, сколь сия Монаршая милость горестно поразила главу фамилии благородной! Он же, гвардии секунд-майор Вышатов, прозревая горестную отныне участь юной девицы, единственного дитяти своего, и позор семейный, чего многие за позор не почитают, явил дерзостное слушание, в сих судьбах благопохвальное, и тот же час выехал с дочерью, в великом ото всех секрете, в дальнюю свою вотчину Вышата-Темное».

Сторож убирает портрет. Все молчат: оборвалась недосказанная поэма. Мерцающие, несбыточные глаза смотрят, хотят сказать: да, было... и было многое...

Идут к церкви, за парком. Бегло оглядывают стенную живопись, работу будто бы крепостного человека. Да, недурно, особенно Страшный суд: деревенские лица, чуть ли не в зипунах.

— Господа, в склепе опять *она!* В девятьсот пятом парни разбили надгробия и выкинули кости!

Входят в сыроватый сумрак, в радуге от цветных стекол. Осматривают подправленные надгробия, помятые плиты. Одно надгробие уцелело, с врезанным в мрамор медальоном ее портрет, уменьшенное повторение. Те же радостно плещущие глаза.

— Парни наши побили гроба... — равнодушно говорит сторож. — До «Жеребца» добирались. А старики так прозвали. А эту не дозволили беспокоить. Святой жизни будто была. Старики сказывали...

Больше он ничего не знает.

Смотрят бархатную черноту склепа — роспись, ангела смерти, с черными крыльями и каменным ликом, перегнувшегося по своду, склонившегося к ее надгробу

¹ «Сейчас зима, но ваши глаза, малышка, пробуждают в моем сердце весну!» (*фр.*)

бию, и белые лилии, слабо проступающие у стен: как живые.

Осмотрено все, можно домой. Не показывает сторож могилы у северной стороны церкви. В сочной траве лежит обросший бархатной плесенью валун-камень, на котором едва разберешь высеченные знаки. Здесь лежит прах бывшего крепостного человека Ильи Шаронова. Имя его чуть проступает в уголку портрета. А может быть, и не знает сторож: мало кто знает о нем в округе.

Церковь в Ляпуновке во имя Ильи Пророка, тянут к ней три деревни, а на престол бывают и из Вышата-Темного, верст за пятнадцать. Тогда приходит и столетний дьячок Каплюга, проживающий в Высоко-Владычнем женском монастыре, в Настасьинской богадельне. Старей его нет верст на сто; мужики зовут его Мусаилом и как поедут на Илью Пророка — везут на сене. От него и знают про старину. А он многое помнит: как перекладывали Илью Пророка и как венчали Анастасию Павловну с гвардии поручиком Сергием Дмитриевичем Ляпуновым: такие-то огни на прудах запускали! Хорошо помнил дьячок Каплюга и как расписывал церковь живописный мастер, дворовый крепостной человек Илюшка.

— Обучался в чужих краях... я его и грамоте учил.

Знает Каплюга и про Жеребца, родителя Сергия Дмитриевича, и как жил на скотном во флигелечке живописный мастер, и как помер. И про блаженной памяти Анастасию Павловну, и называет ее — святая. И про Вышата-Темное, откуда она взята. А Егорий-то на стене... ого! И «Змея» того... прости господи... сам видал. Только тогда об этих делах не говорили.

Лежит за рекой Нырлей, обок с Вышата-Темным, Высоко-Владычней монастырь, белый, приземистый, — давняя обитель, стенами и крестом ограждавшая край от злых кочевников: теперь это женская обитель. На южной стене собора светлый рыцарь,

с глазами-звездами, на белом коне, поражает копьем Змея в черной броне, с головой как у человека — только язычище, зубы и пасть звериные. Говорят в народе, что голова того Змея — Жеребцова.

Много рассказов ходит про Ляпуновку. А вполне достоверно только одно, что рассказывает Каплюга. Сам читал, что записано было самим Ильёю Шароновым тонким красивым почерком в «итальянскую тетрадь бумаги». Тетрадь эту передал дьячку сам Илья накануне смерти.

— Так и сказал: «Анисьич... меня ты грамоте обучил... вот тебе моя грамота...»

Хранил дьячок ту тетрадь, а как стали переносить «Неупиваемую Чашу» из трапезной палаты в собор, смутился духом и передал записанное матушке настоятельнице втайне. Говорил Каплюга, будто и доселе сохраняется та тетрадь в железном сундуке, за печатями, — в покоях у настоятельницы. И архиерей знает это и повелел:

— Храните для назидания будущему, не оглашайте в настоящем, да не соблазнятся. Тысячи путей господней благодати, а народ жаждает радости...

Умный, ученый был архиерей тот и хорошо знал тоску человеческого сердца.

Вот что рассказывают читавшие.

I

Был Илья единственный сын крепостного дворового человека, маляра Терешки, искусного в деле, и тягловой Луши Тихой. Матери он не знал: померла она до году его жизни. Приняла его на уход тетка, убогая скотница Агафья Косая, и жил он на скотном дворе, с телятами, без всякого досмотра, — у божья глаза. Топтали его свиньи и лягали телята; бык раз поддел под рубаху рогом и метнул в крапиву, но божий глаз сохранял, и в детских годах Илья стал помогать отцу: растирал краски и даже

наводил свиль орешную по фанерам. Но был он мальчик красивый и румяный, как наливное яблочко, а нежностью лица и глазами схож был с девочкой, и за эту приглядность взял его старый барин в покои — подавать и запалить трубки. И вот однажды, когда второпях разбил Илья о ножку стола любимую баринову трубку с изображением голой женщины, которой в бедра сам барин наминал табак с крехотом, приказал тиран дать ему соленого кнута на конюшне. Сказал:

— Узнаешь, песий щеняка, чем трубка пахнет.

Тогда от стыда и страха убежал Илья к тетке на скотный и, втайне от нее, хоронился в хлеву, за соломой, выхлебывая свиное пойло. Но не избежал наказания и опять был приставлен к трубкам.

Звали люди барина Жеребцом. Был он высок, тучен и похотлив; все пригожие девки перебивали у него в опочивальной. Был он сроду такой, а как повывал дочерей замуж, а сына прогнал на службу, стал как султан турецкий: полон дом был у него девок. Даже и совсем недоростки были. Помнил Илья, как кинулся на барина с сапожным ножом столяр Игнашка, да промахнулся и был увезен в острог. Но стал барин хиреть и терять силы. Тогда водили к нему особо приготовленных девок: парили их в жаркой бане и секли яровой соломой, оттого приходили они в ярое возбуждение и возвращали тирану силы.

Тяжело и стыдно было Илье смотреть на такие дела, но по своей обязанности состоял он при барине неотлучно. Даже требовал от него барин ходить нагим и смотреть весело. А он закрывал от стыда глаза. Тогда приказывал ему барин-тиран делать разные непотребства, а сам сидел на кресле, сучил ногами и курил трубку.

Было тогда Илье двенадцать лет.

Как-то летом поехал барин глядеть мельницу на Проточке — прорвало ее паводком. Редко выбирался он из дому, а Илья все надумывал, как бы сходить в монастырь, помолиться, — ждал случая. И вот,

не сказав ни отцу, ни ключнице — старухе Фёфёлихе, в стыде и скорби, побежал на Вышата-Темное, в Высоко-Владычней монастырь: слышал часто и от дворовых, и от прохожих людей, что получают там утешение.

После обедни он остался в храме один и стал молиться украшенной лентами золотой иконе. Какой — не знал. И вот подошла к нему старушка монахиня и спросила с лаской:

— Какое у тебя горе, мальчик?

Илья заплакал и сказал про свое горе. Тогда взяла его монахиня за руку и велела молиться так: «Защити-оборони, Пречистая!» И сама стала молиться рядом.

— А теперь ступай с Богом. Скушай просвирку, и укрепишься.

Дала из мешочка просвирку, покрестила и вывела из храма. И легко стало у Ильи на сердце.

Всю дорогу — пятнадцать верст — сосновым бором весело прошел он, собирая чернику, и пел песни; и кто-то шел с ним кустами и тоже пел. Должно быть, это был отзвук. И вовсе не думалось ему, что воротился с мельницы барин и хлопает в ладони — кличет. Только подходит к лавам на Проточке — выскочила из кустов Любка Кривая, которой проткнул барин глаз, вышпынивая из-под лестницы, куда она от него забилась, охватила Илью за шею и затрепала:

— Илюшечка, миленький, красавчик! Утоп наш Жеребец проклятуший на мельнице, не по своей воле! Туточки верховой погнал на деревню, кричал...

Завертела его как бешеная, зацеловала. Возрадовался Илья в сердце своем и не сказал никому про свою молитву.

Положил Господь на весы правды своей слезы рабов и покарал тирана напрасной смертью.

Всю жизнь снился Илье старый барин: мурластый, лысый, с закатившимися под лоб глазами, в заплеван-

ном халате, с волосатой грудью, как у медведя, и ногами в шерсти. И всю свою недолгую жизнь говорил Илья в тягостную минуту старухину молитву.

II

Стал на власть молодой барин, гвардии поручик Сергей Дмитриевич. Приехал из Питера — при старом барине бывал редко — и завел псовую охоту на удивление всем. Стало при нем много веселей. Старый медведем жил, не водился с соседями, а молодой погнал пиры за пирами. Завел песельников и трубачей, поставил на островке «павильон любви» и перекинул мостки. Стали плавать на прудах лебеди.

Опять отошел Илья к отцову делу: расписывал на беседках букеты и голячков со стрелками — амуров. Не хуже отца работал.

Добрый был молодой барин, не любил сечь, а сказал:

— Надо вас, дураков, грамоте всех учить: ученье — свет!

Призвал молодого дьячка Каплюгу с погоста да заштатного дьякона, пьяницу Безносого — провалился у него нос, — и приказал гнать науку на всех дворовых — стариков и ребят. Вырезал себе Безносый долгую орешину и доставал до лысины самого заднего старика, у которого и зубов уже не было. Плакали в голос старики, молили барина их похерить. А Безносый доставал орешинкой и гнусил:

— Не завистлуй господской доле! Господская наука всем мукам мука!

Кончилось обучение: нашли Безносого под мостками в Проточке, у полыни: разбился во хмелю будто.

Выучился Илья у Каплюги бойко читать Псалтырь и по гражданской печати; и писать и считать выучился отменно. Пришел барин прослушать обучение и подарил Илье за старание холста на рубаху, новую шапку

к зиме и гривну меди на подмонастырную ярмарку, что бывает на Рождество Богородицы.

Памятна была Илье та первая гривна меди.

Пригоршню сладких жемков, корец имбирных пряников и полную шапку синей и желтой репы накупил он на ярмарке; три раза проползал под икону за крестным ходом и шей монастырских с сомовиной наелся досыта. Слушал слепцов, нагляделся на медведя с кольцом в ноздре. Помнил до самой смерти тот ясный, с морозцем, день, засыпанные кистями рябины у монастырских ворот и пушистые георгины на образах. А когда возвращался с народом через сосновый бор — вольно отзывался бор на разгульные голоса парней и девок. Пели они гулевою песню, перекликались. Запретная была эта песня, шумная: только в лесу и пели.

Пели-спрашивали — перекликались:

С' отчево вьюгѳй-метелюжкой метет.

С' отчево не все дорожки укрѳет?

Одну-ю и вьюжинá не берет?

А какую вьюжинá не берет?

Всю каменѳем умощенную,

Все кореньем да с хвощиною!

А какую метелюга не метет

Ой, скажи-ка, укажи, лес-бор!

Самую ту, что на барский двор!

Радовался Илья, выносил подголоском, набирал воздуху — ударят сейчас все дружно. Так и заходит бор:

Чтоб ей не было ни хожева,

Ой, не хожева, не езвева!

Ай, вьюга-метелюга, заметай!

Ай, девки, русы косы расплетай!

Минуло в ту осень Илье шестнадцать лет.

III

Прошло половодье, стала весна, и в монастыре начали подновлять собор. Приехала к барину с поклонами обительская мать казначея — ездил по округе, — не отпустит ли для малярной работы чистой умелого мастера, Шаронова Терешу? Охотно отпустил барин: святое дело.

Лежало сердце Ильи к монастырской жизни: тишина манила. Хорош был и колокольный набор и вызвон: приезжал обучать звонам знаменитый позаводский звонарь Иван Куня и обучил хорошо слепую сестру Кикилию. Умела она выблаговестить на подзвоне — «Свете Тихий».

Уж собираться было отцу уходить в монастырь на работу, и барин стал собираться в отъезд, в степное имение, до осенней охоты. Тогда нашла на Илью смелость. Приметил он — пошел барин утречком на пруды кормить лебедей, понесла за ним любимая девка, Сонька Лупоглазая, пшеничную кашу в шайке. Подобрался Илья кустами, стал выжидать тихой минутки.

Веселый стоял барин на берегу, у каменного причала, где резные, Ильей покрашенные лодки для гулянья, швырял пшеничную кашу в белых лебедей, а они радостно били крыльями. Такое было кругом сияние!

В китайский красный халат был одет барин, с золотыми головастыми змеями, и золотая мурmolка сияла на голове, как солнце. Так и сиял, как икона. И день был погожий, теплый, полный весеннего света — с воды и с неба. Как в снегу, белый был островок в черемуховом цвете. Стучали ясными топорами плотники на мостках, выкладывали перильца белой березой.

Услыхал Илья, как говорит весело барин:

— Лебедь есть птица богов, Сафо. Помни это. Они полны благородства и красоты. Помни это. Поиграй на струнах.

Радовался Илья. Знал, что в духе сегодня барин, если разговаривает с Сафо — Сонькой Лупоглазой.

Вся в белом была Сафо, как отроковица на иконе в монастыре, с голубками. Приказал ей барин надевать белый саван, распускать черные волосы по плечам, на голову надевать золотое кольцо, а на ногах носить с ремешками дощечки. Приказал белить румяные щеки и обводить глаза углем. Совсем новой становилась тогда она, как на картинках в доме, и любил смотреть на нее Илья: будто святая. А через плечо висели у ней гусли, как у царя Давида. Самая красивая была она, и ее покупал еще у старого барина заезжий охотник, давал пять тысяч. Так говорил Спиридошка-повар, ее отец. Не нужна она была старому барину; слабый он был совсем, а только потому и не продал, что очень она была красива телом — любил сидеть и смотреть. А когда стал на власть молодой барин, взял ее из девичьей в покои, на особое положение, и приказал называть ее всем — Сафо. Так и звали, подлащивались к новой любимице, а меж собой стали звать — Сова Лупоглазая. Даже Спиридошка-повар, Сонькин отец, передавая ей блюдо с любимым кушаньем барина — бараньими кишками с кашей, говорил уважительно:

— Пожалуйте вам, Сафа Спиридоновна, кишочки.

А вслед плевался и кричал на Илью:

— Чего, паршивец, смеешься!

Выбрался Илья на прудовую дорожку и издалека упал на колени. Сказал:

— Отпустите, барин, с отцом... поработать на монастырь!

Знал Илья, никогда барин сразу не обернется, а все слышит. Покормил барин лебедей, вытер о халат руки и приказал подойти ближе. Сказал:

— Это ты, грамотей? — И погладил по голове. — Ты красивый парень. Скажи, Сафо... любят его девки?

Сафо закатила глаза — учил ее так барин, — выставила ногу и сказала нараспев в небо:

— О, не знаю-с, барин!

Испугался Илья: рассердился барин, не пустит его в монастырь на работу. А барин затопал и замахал руками:

— Дура! Не «барин» надо, а «го-спо-дин»! Так говорили греки! Слушай: «Не знаю, о мой господин». — В монастырь работать? А ну, что скажешь, Сафо?

Тогда Илья с мольбой посмотрел на Сафо, и его глаза застлало слезами. И опять испугался. Сказала Сафо опять:

— О... можно, барин!

Затопал барин еще пуще,

— Ах ты, дура утячья! Пошла, пошла... Выучись по моей записке с Петрушкой... Постой... Повтори: «Отпусти его, о господин мой!» И поиграй на струнах.

Обрадовался Илья: она ладно сказала, отвернув голову, и позвонила на гусях.

— Ступай, — сказал барин. — Благодарю ее за вкус манер. А то бы не работать тебе в монастыре. Ей обязан!

До самой смерти помнил Илья то светлое утро с лебедями и бедную глупенькую Сафо-Соньку. Не скажи она ладно — было бы все другое.

IV

Радостно трудился в монастыре Илья.

Еще больше полюбил благолепную тишину, тихий говор и святые на стенах лики. Почуял сердцем, что может быть в жизни радость. Много горя и слез видел и чуял Илья и испытал на себе; а здесь никто не сказал ему плохого слова. Святым гляделось все здесь: и цветы, и люди. Даже обгрызенный черный ковшик у святого колодца. Святым и ласковым. Кротко играло солнце в позолоте икон, тихо теплились алые огоньки

лампад... А когда взывала тонким и чистым, как хрусталец, девичьим голосом сестра под темными сводами низенького собора: «Изведи из темницы душу мою!» — душа Ильи отзывалась и тосковала сладко.

Расписывали собор заново живописные мастера-вязниковцы, из села Холюя, знатоки уставного ликописания. Облюбовал Илью главный в артели, старик Арефий, за пригожесть и тихий нрав, пригляделся, как работает Илья мелкой кистью и чертит углем, и подивился:

— Да братики! да голубчики! Да где ж это он выучку-то заполучил?!

И показывал радостно и загримовку, и как наводит контур, и как вымерять лики. Воскликнул радостно:

— Да братики! да вы на чудо-те божие поглядите! да он же не хуже-те моего знает!

Дивился старый Арефий: только покажешь, а Илье будто все известно.

Проработал с месяц Илья — поручил ему Арефий писать малые лики, а на больших — одеяние. Учил уставно:

— Святому вохры-те не полагается. Ни киновари, ни вохры в бородку-те не припускай, нет рыжих. Один Иуда рыжий!

Выучился Илья зрак писать, белильцами светлую точечку становить, без циркуля, от руки, нимбик класть. Крестился Арефий от радости:

— Да вы, братики, поглядите! да кокой же золотой палец! Да это же другой Рублев будет! Земчуг в навозе обрел, Господи! — поокивал Арефий, допрашивал маляра Терешку: — Да откудава он у те взялся?

Смотрел Терешка, посмеивался:

— По седьмому году он у меня сани расписывал глазками павлиньими, по восьмому арабеску у потолку наводил!

Приходили монахини, подбирали бледные губы, покачивали клобуками:

— Благодать божия на нем... произволение!

Стыдливо смотрел Илья, думал: так, жалеет его Арефий. Радостно давалась ему работа. За что же хвалит? Сказал Арефию:

— Мне и труда нимало нету, одна радость.

Растрогался Арефий до слез и открыл ему, первому, великий секрет — невыцветающей киновари:

— Яичко-те бери свежохонечкое, из-под курочки прямо. А как стирать с киноварью будешь, сушь бы была погода... ни оболочка! Небо-те как божий глазок чтобы. Капелечки водицы единой — ни боже мой! да не дыхай на красочку-те, роток обвяжи. Да про себя, голубок, молитву... молитовочку шопчи: «Кра-а-суйся-ликуй и ра-а-дуйся, Иерусалиме!»

Сам все нашептывал-напевал эту кроткую, радостную песнь церкви, когда выписывал в слабом свете под куполом старого бога Саваофа, маленький и легкий, как мошка.

Уже старый-старый был он, с глазками-лучиками, и, смотря на него, думал Илья, что такие были старенькие угодники — Сергей и Савва, особо почитаемые Арефием.

Стояла в монастырском саду караулка — один сруб, без настила, — крытая по жердям соломой. Тут и жили живописные мастера, а обедать ходили в трапезную палату.

Еще когда цвели яблони, в первые дни работы, вышел Илья из караулки на восходе солнца. Весь белый был сад, в слабом свете просыпающегося солнца, и хорошо пели птицы. Так хорошо было, что переполнилось сердце, и заплакал Илья от радости. Стал на колени в траве и помолился по-утреннему, как знал: учила его скотница Агафья. А когда кончил молитву, услышал тихий голос: «Илья!» И увидел белое видение, как мыльная пена или крутящаяся вода на мельнице. Один миг было ему это видение, но узрел он будто глядев-

шие на него глаза... В страхе приник он к траве и лежал долго. И услышал — окликает его Арефий:

— Ты что, Илья?

Поднялся Илья и рассказал Арефию: видел глаза, такие, каких ни у кого нет.

— Ну, какие? — допытывался Арефий.

— Не знаю, батюшка... таких ни у кого нету...

Мог, зашурясь, вызвать эти глаза, а сказать не мог.

— Строгие, как у Николы Угодника? У Ильи Пророка? — все допытывался встревоженный Арефий.

— Нет, другие... через них видно... будто и во весь сад глаза, светленькие...

Покачал задумчиво головой Арефий: так, со сна показалось. Не поверил. А Илья весь тот день ходил как во сне и боялся и радовался, что было ему видение: слышал, как читали монахини в трапезной Жития, что бывают видения к смерти и послушанию.

С этого утра положил Илья на сердце своем — служить богу. Только не разумел — как.

Ласково жили в монастыре: ласку любил Арефий. Всех называл — братики да голубчики, подбадривал нерадивых смешком да шуткой. Много знал он ласково-радостных сказочек про святых, чего не было ни в одной книге: почему у Миколы глаза строгие, как октябрь месяц, почему Касьян — редкий именинник, а Ипатия пишут с тремя морщинками. Обведало все это благодостной теплотой мягкое Ильино сердце.

Спрашивал Илья Арефия:

— А почему мученики были греки, а то римляне... а наших нету?

— А вот тебе царь Борис-Глеб, наши! Митрополит Филипп... Димитрий-царевич!

— А мужики-мученики какие?

— Какие? А погоди...

Припоминал Арефий: юродивые, блаженные, столпники, преподобные...